

ТРЕТЬЯ ПОЗИЦИЯ, или НАШ ПСИХОАНАЛИЗ В ОЖИДАНИИ ГОДО

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕРИПЕТИЯХ ОБРЕТЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА «МОСКОВСКОЙ ПОЧВЕ»*

И.КАДЫРОВ**

Автор привлекает внимание к проблеме аналитического пространства и его «сжатости», ограниченности в условиях современной России. Он предполагает, что такие ограничения могут быть рассмотрены как результат отсутствия или «изъятия» Третьего («третьего объекта», «третьей позиции» или «третьего элемента») – как на социальном, так и на индивидуальном уровнях. Описывается опыт обретения такого пространства некоторыми московскими психотерапевтами. Приводится клиническая иллюстрация.

Социальная нестабильность и аналитическое пространство. Как правило, социальные потрясения оказывают глубокое воздействие и на тех, кто практикует психоанализ (или психотерапию), и на их пациентов, и на саму психоаналитическую теорию. При внимательном рассмотрении, последствия таких потрясений можно обнаружить даже при обращении к тем психоаналитическим теориям, которые имеют дело с наиболее глубокими внутренними психическими силами и структурами. Примером может служить и теория бессознательных объектных отношений Мелани Кляйн. В своем предельном устремлении она сосредоточена на прослеживании действия самых глубоких, едва ли не врожденных, мощных внутренних сил (например, инстинкта смерти и жизни, априорного «знания» младенца о материнской груди, его фантазий о работе и содержании собственного тела, оперирующих в контрапункте с фантазиями о работе и содержании материнского тела). И хотя эта теория

* Основой для данной статьи послужил доклад автора «В поисках аналитического пространства», представленный на 8-й Восточно-Европейской психоаналитической конференции, организованной Европейской Психоаналитической федерацией и посвященной теме «Как практиковать психоаналитическую терапию в периоды социальной нестабильности» (Киев, 2000г.). Copyright Кадыров И.М.

** **Кадыров Игорь Максумович** – психоаналитик (член Международной Психоаналитической Ассоциации), президент Московского психоаналитического общества, доцент МГУ, кандидат психологических наук.

признает важность актуального социального опыта человека, тем не менее, он считается вторичным по отношению к глубинным внутриспсихическим процессам (Klein, 1958).

Однако, как недавно в своем историко-психоаналитическом исследовании продемонстрировал Джозеф Агуайо (1997), многие из наиболее важных открытий Мелани Кляйн, и в особенности те новаторские формулировки, которые ей удалось сделать в Будапеште (1914-1920гг.) и затем в Берлине (1921-1925гг.), несут на себе глубочайший отпечаток мощных социокультурных потрясений, пережитых воюющей и послевоенной Европой.

Следует помнить, что вхождение Мелани Кляйн в мир психоанализа пришлось на весьма грозное время. Сразу после начала Первой мировой войны Сандор Ференци, ее первый психоаналитик, был призван на военную службу и направлен в качестве психиатра в подразделения венгерских гусар. Только в 1916 году он смог вернуться в Будапешт для службы в военном госпитале. С 1914 по 1916гг. анализ Мелани Кляйн подвергался частым и весьма длительным перерывам (полагаю, что тем российским коллегам, которые проходят свой личный, так называемый «шатловый», или «челночный», анализ во время регулярных, но ограниченных по времени поездок за границу, нетрудно представить, насколько этот опыт мог быть болезненным или даже потенциально травматическим). После распада Австро-Венгерской империи и короткого, но агрессивного коммунистического правления (в этот период Бела Кун даже успел назначить Ференци профессором психоанализа в Будапештском университете) в Венгрии установился антисемитский белый террор, и в 1921г. Мелани Кляйн со своей семьей была вынуждена переехать в Берлин, где она жила и экспериментировала с детским психоанализом до 1925 года, то есть до смерти своего второго аналитика и старшего коллеги – Карла Абрахама.

Особого внимания при этом заслуживает также и то обстоятельство, что в эти годы ее клинический опыт принципиально определялся аналитической работой со специфической группой пациентов. Это были дети (главным образом немецко-говорящие), испытывающие лишения, голодные и истосковавшиеся по своим отнятым войной отцам, которые, в свою очередь, если и не были убиты, то возвращались домой сломленными и несли с собой чувство поражения, предельного истощения и подавленности. Тотальная война и ее последствия, атмосфера всеобщего разрушения, унижения, вездесущего голода, холода и смерти навсегда впечатались в души детей этого времени, многие из которых впоследствии влились в когорту нацистской молодежи (Loewenberg, 1983; цит. по Aguayo, 1997).

Парадоксально, что социальный контекст или *подтекст* такой радикально «внутренней» теории базальных человеческих инстинктов и глубинных бессознательных фантазий почти полностью игнорируется в

психоаналитической литературе. Ведь М.Кляйн имела дело с детьми, лишенными отцов, голодающими и страдающими от множества связанных с этим болезней, в условиях, при которых их матери сами катастрофически недоедали, что снижало их способность к кормлению грудью. Вероятно, эти «внешние» обстоятельства не могли не оказаться среди факторов, побудивших ее сосредоточить свое пристальное внимание на роли и значении отношений между матерью и ребенком и на озабоченности малыша материнской грудью, телом матери и тем, что находится внутри ее тела.

Я отдаю себе отчет, что, пытаясь сообщить нечто читателям МПЖ о «российском» или «московском» опыте¹ психоаналитической работы в условиях социальной нестабильности или неблагополучия, я начинаю с обращения к сходному историческому опыту западных коллег. И хотя такая ссылка кажется мне вполне допустимой (учитывая предложенный ниже ракурс трехмерного аналитического пространства, где подобный опыт, казалось бы, «внешний» для диады «автор-читатель», может служить в качестве третьей позиции), ее можно было бы сравнить с попыткой «укротить» или «остудить» стакан водки при помощи кубиков льда. Увы, боюсь, что обойтись вовсе без «кубиков» опыта «западного» психоанализа, как и без многочисленных ссылок, сносок и парафраз, я вряд ли смогу. Психоанализ как дисциплина и клиническая практика – цивилизованный дискурс. И вторично берущий свой старт отечественный психоанализ, чтобы состояться и выжить, не должен быть исключением. Ведь, по выражению И.Бродского, в конечном счете, сноска и парафраз существуют там, где выживает цивилизация.

И все же, я постараюсь также по возможности больше обращаться к собственному опыту и личным размышлениям как психотерапевта и психоаналитика, живущего и работающего в Москве – столице страны, повседневная социальная, политическая и экономическая жизнь которой весьма стабильна в своей нестабильности и пропитана глубоко травматическими событиями. Однако в этой статье я не буду затрагивать напрямую сами эти травматические социальные события и явления. Постараюсь сосредоточить свое внимание, скорее, на более скрытом или «фоновом» аспекте данной темы. Я имею в виду проблему крайней ограниченности или сжатости того аналитического пространства, в котором многие из моих российских коллег (а также коллеги из ряда других пост-тоталитарных стран Восточной Европы) сегодня вынуждены работать. Это то пространство, без развития которого невозможна никакая аналитическая работа с нашими пациентами, будь то ориентированная на инсайт психотерапия или психоанализ.

В рамках этой статьи я буду придерживаться достаточно широкого

¹ Строго говоря, я могу коснуться лишь некоторых аспектов собственного опыта и опыта моих ближайших коллег – членов Московского Психоаналитического Общества, который может отличаться от опыта других московских психотерапевтов.

определения аналитического пространства, включая сюда ряд *внешних* и *внутренних* его составляющих. К первым можно отнести, прежде всего, такие аспекты, как физическое пространство кабинета, сеттинг, базовые правила, конфиденциальность и границы терапевтических отношений. Ко вторым я отношу, главным образом, понятие того психического пространства, внутри которого пациент и аналитик могли бы думать, чувствовать и жить, располагая при этом как сферами личной уединенности (приватности) каждого, так и сферой взаимных пересечений, зоной встреч, осмысленных эмоциональных и интеллектуальных связей, устанавливаемых внутри психотерапии. Сфера взаимного пересечения пациента и аналитика трактовалась различными авторами как «переходное пространство» (*Winnicott, 1971*), «интерсубъективный аналитический третий» (*Ogden, 1994*), «рефлексивное пространство» (*Hinshelwood, 1994*) и т.д.

Само же психическое пространство, как оно понимается в психоанализе, предполагает определенное развитие. Литература, посвященная этой теме, весьма обширна. Однако в рамках своей статьи я ограничусь лишь кратким изложением тех взглядов, которые считаю наиболее релевантными для данной работы. С точки зрения Дж.Гротстейна, способность переживать пространство «появляется на основе первичных кожных ощущений рождающегося плода, "пробуждающих" кожу с ее сенсорными рецепторами к ее функционированию в качестве покрывающей поверхности, в качестве границы между Я и не-Я и в качестве вместилища (контейнера) Я» (*Grotstein, 1978, p.56*). Он также выдвинул идею, что развитию способности осознавать и переносить наличие «разрыва» пространства, в смысле дистанции и времени между исчезновением (уходом) и возвращением (приходом) первичного объекта, становится моментом своеобразного «крещения» психического пространства. Если младенец может «вместить» или «контейнировать» пространство, оставленное отсутствующим в данный момент объектом, то он способен принять и расширить собственное его ощущение в целом и поэтому способен к сепарации. Гротстейн пишет: «Без сепарации во времени и расстоянии не может быть понятия психического пространства, а поэтому невозможно восприятие и определенно невозможна репрезентация» (*там же, p.56*). Другими словами, для того чтобы психическое пространство могло возникнуть (как пространство между), необходимо, чтобы Я смогло позволить объекту быть отдельным, так же как и Я должно обрести право быть отдельным от объекта.

Д.Винникотт особо подчеркивал кардинальное значение особой материнской позиции, ненавязчивой, но весьма чувствительной, которая необходима, чтобы помочь ребенку создать такое пространство. Патрик Кэйсмент дает удачное описание этого процесса: «Для того чтобы ребенок смог свободно вступить в полную воображения и творчества игру, он нуждается, чтобы между ним и матерью находилось некое пространство, в

котором у него были бы автономные права на инициативу. Получив такое пространство, которое было описано Винникотом (1958) как "возможность быть одному в присутствии матери", ребенок начинает исследовать творческий потенциал данного пространства. Но это требует от матери чувствительной воздержанности от вторжений в игровую зону без приглашения. Если все проходит нормально, то играющий ребенок может разместить здесь продукты своего воображения, сохраняя свободу включать или исключать ее из своей игры. Он может использовать "отсутствующее" присутствие матери или ее "присутствующее" отсутствие как главный мотив и материал для своей игры. Он может по собственной воле "сотворить" ее и "обратить свое творение в прах" и, делая это, наслаждаться волшебством игры, где он Бог и Царь своего игрового владения. Именно здесь закладываются и вынашиваются семена будущей креативности» (Casement, 1992, p.38).

Дальнейшее развитие пространственного опыта предполагает «замыкание» эдипова треугольника через осознание связи, соединяющей родителей, в результате которого образуется то, что Рональд Бриттон² называет «треугольным (триангулярным) пространством». Это – «пространство, ограниченное тремя персонажами эдиповой ситуации и всеми потенциально возможными отношениями между ними» (Britton, 1989, p.87). Как подчеркивает Бриттон, триангулярное пространство содержит в себе «возможность быть участником отношений, равно как и объектом наблюдения со стороны третьего лица. <...> Если психологически ребенок оказывается способным вынести <... > самый факт наличия связи между родителями, то этот опыт становится для него прототипом объектных отношений третьего рода, в которых он выступает свидетелем, но не участником. Тогда и возникает третья позиция, с которой становится возможным наблюдение за объектными отношениями. Благодаря этому мы также можем наблюдать, одновременно находясь под наблюдением сами. Это обеспечивает нас способностью видеть себя во взаимоотношениях с другими, а также принимать точку зрения другого, сохраняя свою собственную, т.е. способностью, оставаясь *самим собой*, быть рефлексивным *самим собой*» (Britton, 1989, p.41-42). Бриттон также предполагает, что «если человеку удастся обрести такое триангулярное пространство, то это обеспечивает его структурой, необходимой для интеграции субъективного и объективного восприятия первичного объекта. Если триангулярное пространство уплощается или распадается, субъективное и объективное видение перестают быть различимыми, и человек теряет способность различать идею события и само событие, или он может иметь раздвоенное параллельное видение любой ситуации..., когда нечто кажется и истинным и ложным одновременно»

² Хочу выразить свою благодарность Рональду Бриттону за предоставленную возможность лично обсудить с ним некоторые теоретические и клинические вопросы и за помощь в уточнении и формулировке ряда идей, высказанных в этой статье.

(Britton, 1995, p.93). Таким образом, можно предположить, что именно «трехмерность», т.е. введение в психическое пространство третьей позиции, и является основой для рефлексивного пространства.

Конечно, понятие психического пространства не обязательно выводится из и не сводится к понятию пространства аналитического. Тем не менее, аналитическое пространство хотя бы потенциально несет в себе разнообразные характеристики пространства психического, присущие разным этапам онтогенетического развития, так же как и возможность их актуализации на разных этапах анализа. И без сомнения, аналитическое пространство должно быть, и в идеале всегда является, пространством рефлексивным, хотя на практике пациент и даже его аналитик могут выпадать из рефлексивного пространства, и тогда анализ перестает быть анализом либо на время, либо уже необратимо.

Существует множество факторов и процессов, угрожающих аналитическому пространству и даже способных свергнуть его в состояние хаоса. Некоторые из них, обозначенные, например, как примитивные нападения (атаки) на «связь» (Bion, 1959) или на рефлексивное пространство (Hinshelwood, 1994), могут ограничивать аналитическое пространство, действуя «изнутри». Другие, часто описываемые как вмешательство или вторжение в процесс лечения так называемой «третьей стороны» (например, страховых компаний, обучающих институтов, членов семьи и т.д.), скорее, воздействуют «извне» (см., напр., Casement, 1980; Томэ и Кэхеле, 1987/1996).

Тем не менее, у меня сложилось впечатление, что в России и, насколько я могу судить, в странах бывшего СССР и Восточной Европы, давление и вторжение в аналитическое пространство со стороны внешних социальных явлений имеют свой особый колорит. Например, в то время как западный психоаналитический мир всерьез озабочен осложнениями, вызванными вмешательством «третьей стороны», психотерапевты в тоталитарных и пост-тоталитарных странах больше сталкиваются с вторжениями, обусловленными отсутствием или дефицитным присутствием в аналитическом пространстве «третьего объекта», «третьей позиции» (Britton, 1989) или «третьего элемента» (Brickman, 1993).

Отсутствие, сокращение или изъятие «третьего объекта» на социальном, а также индивидуальном уровнях могут представлять собой как результат, так и причину специфических, инцестуозных по своей природе отношений с тем примитивным доэдиповым объектом, который был описан как «бандитский» или «мафиозный объект» (Rosenfeld, 1987)³,

³ Розенфельд предложил это понятие в контексте своей работы с нарциссически-деструктивными пациентами. При этом он пишет: «Деструктивный нарциссизм этих пациентов часто обнаруживает свою высокую организованность, как если бы человек имел дело с могущественной бандой, подчиненной лидеру, который контролирует всех членов банды и следит, чтобы они поддерживали друг друга в стремлении сделать свою разрушительную криминальную деятельность более эффективной и мощной. <...> Главная цель <...> – избежать ослабления организации и контролировать членов банды, чтобы они не покинули эту подрывную организацию и не присоединились к позитивным частям "Я" или не раскрыли секреты банды полиции, защищающему суперэго, символом которого служит психоаналитик, потенциально способный спасти пациента. Часто, когда пациент такого

спутанная мать архаической матрицы Эдипова комплекса (*Chasseguet-Smirgel, 1990*)⁴ или, что еще ближе для данного контекста, как «тоталитарный объект» (*Sebek, 1998*).

Эти понятия М.Шебека, Д.Шасге-Смиржель и Х.Розенфельда позволяют представить, как практически любая экстремистская политическая или идеологическая система, продуцируя и тиражируя на социальном и психологическом уровнях множество тоталитарных объектов, через посулы, угрозы и прямой террор вынуждает «массы» людей совершать многократные интроекции как самих этих объектов, так и их производных. Тоталитарный объект лукаво сулит абсолютное счастье и обещает слияние с архаическим материнским объектом, погружение в мир первобытного хаоса или возврат в деструктивное нарциссическое состояние. Эти примитивные объекты также обладают способностью подстрекать индивида или целые группы к уничтожению и сметанию любых препятствий, которые могут встретиться на пути к вожделенному фантазийному состоянию – где младенец должен снова слиться с материнским телом. Те препятствия, которые подлежат уничтожению, отождествляются с реальностью и мыслью и представлены отцовским или «третьим» объектом.

Что же касается пространственных феноменов, их ментальных и, я склонен считать, физических производных (проявляемых на вполне конкретном уровне, например, в организации жизненного и рабочего пространства), то все это (см., напр., *Sebek, 1998*) ведет, по крайней мере, к:

- предельному ограничению любого неконтролируемого пространства (включая пространство мышления);
- сокращению пространства, где возможно проявление спонтанности

типа продвигается в анализе, желая измениться, ему снится, что он подвергается нападению со стороны членов мафии или подростковой преступной группы, и тогда устанавливается негативная терапевтическая реакция. <...> У многих из этих пациентов деструктивные импульсы связаны с перверзиями. В этих ситуациях явное смещение инстинктов не ведет к ослаблению силы деструктивных инстинктов; напротив, сила и насилие значительно нарастают через эротизацию агрессивного инстинкта. Я думаю, что следование за Фрейдом в понимании перверзий как смещения инстинктов жизни и смерти ведет к путанице, потому что в этих случаях деструктивная часть "Я" приобретает контроль над либидинальными аспектами личности пациента и поэтому способна злоупотреблять ими. <...> У некоторых нарциссических пациентов деструктивные нарциссические части "Я" связаны с психотической структурой или организацией, которая отщеплена от остальных частей личности. Психотическая структура похожа на бредовый мир или объект, в который устремляются некоторые части "Я". Он руководим всемогущей или всезнающей крайне жестокой частью "Я", которая создает идею, что внутри бредового объекта лежит не только полное отсутствие боли, но и свобода погружения в любую садистическую активность. Вся структура подчинена нарциссической самодостаточности и жестко противостоит ориентации на объектные отношения. Деструктивные импульсы внутри этого бредового мира иногда открыто проявляются как невероятной силы жестокость, угрожающая свергнуть сохранившееся "Я" во власть смерти, но чаще они маскируются под маской беспредельной благожелательности или гарантированного спасения, суля пациенту быстрое, идеальное решение всех его проблем. Эти лже-обещания нацелены на превращение нормального "Я" пациента в зависимое или аддиктивно привязанное к его всемогущему "Я", на соблазняющее втягивание нормальных, здоровых частей в бредовую структуру и их полное подчинение» (*Rosenfeld, 1971, p.173-174*).

⁴ Данное понятие, изначально разработанное для уточнения некоторых проблем клинического психоанализа (в частности анализа перверзий), Шасге-Смиржель также удачно применила в своем исследовании психологической природы нацистской идеологии и геноцида. Примечательно, что в этой работе она приводит обильные цитаты из антиутопии Евгения Замятина «Мы» (1924), что намекает на возможность привлечения ее идей для психоаналитического изучения и того жестокого социального эксперимента, который пережила, но еще не вполне преодолела наша страна.

и креативности истинного Я;

– деструкции пространства, в котором могут развиваться межличностные отношения, выходящие за рамки примитивного отзеркаливания и повиновения.

Это – тяжелое наследие для всех, живущих сегодня в России и в Восточной Европе, включая психоаналитиков и психотерапевтов, которые до сих пор должны как-то справляться с ним, отстаивая самих себя и помогая в этом своим пациентам.

Я хотел бы при помощи некоторых литературных примеров и ситуаций из личного опыта показать, какие формы описанная проблема приобретала в советской и постсоветской России.

В своем чрезвычайно увлекательном культурологическом анализе советской архитектуры, заставляющей размышлять не только об особенностях и противоречиях советского архитектурного ландшафта и соответствующих пространственных решениях в камне, но и о ряде специфических для нашего отечества пространственных феноменах социального и психологического порядка, Владимир Паперный сообщает, что в Советской России жилищный передел начался уже через две недели после взятия Зимнего Дворца (*Паперный*, 1996). Это немедленно породило острейшую проблему коммунальной квартиры, нашедшую столь яркое отражение в советской литературе (М.Булгаков, М.Зощенко), где зафиксирована принципиальная невозможность иметь отдельную комнату каждому человеку. Помните, у Булгакова в «Трактате о жилище»:

«Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, – квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

Но этого мало – последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие "квартира" и словом этим называют что попало <...> (*Булгаков*, 1991, с.267).

В 20-е годы весь жилищный фонд независимо от наличия стенных перегородок делился на равные отрезки площади с нормой 8 квадратных метров на человека. Если человек жил в большей комнате, он должен был «самоуплотниться»:

«Куда я вошел? Черт меня знает! Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем

рисовал портрет жены. Жена читала "Тарзана".

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя. <...> Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я...» (там же, с.268)⁵.

Реакция на эти процессы человека прошлой культуры, врача, живущего и практикующего в своей большой московской квартире, хорошо известна нам по повести М.Булгакова «Собачье сердце» (1924). К Филиппу Филипповичу Преображенскому, знаменитому профессору и хирургу, приходят представители нового домоуправления.

«Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно <...>

– Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома... <...> общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что, в общем и целом, вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и я желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. <...> У меня приемная – заметьте – она же библиотека, столовая, мой кабинет – 3. Смотровая – 4. Операционная – 5. Моя спальня – 6 и комната прислуги – 7. В общем не хватает... Да, впрочем, это не важно <...>

– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

– Даже у Айседоры Дункан, – звонко крикнула женщина <...>

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, – хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, – заговорил он слегка приглушенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в

⁵ Любопытно, что, юмористично описывая «кошмар», переживаемый в пространстве, где утрачиваются границы приватности, дифференцирующие «я» от «не-я», и где наступает угроза их полного слияния, рассказчик адресуется к виртуальному собеседнику – к «проживающим в Берлине, Париже и Лондоне», т.е., можно сказать, к воображаемому «третьему», находящемуся за пределами этой бредовой системы и потенциально нормализующему ее.

комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. – вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. – Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подадим на вас жалобу в вышестоящие инстанции» (с.191-192).

Примечательно, что жилищный кризис в Москве и других крупных городах Советской России трудно объяснить лишь экономическими причинами. Немалую роль, по-видимому, играли причины «идеологического» или даже «психологического» характера. Как отмечает В.Паперный, в Москве революционный жилищный передел был направлен главным образом на разрушение иерархической кольцевой структуры города (в деревне в это же время шел земельный передел). Для этой цели живущие на окраине рабочие целенаправленно переселялись новой властью в реквизированные квартиры в центре. Ради их привлечения в центр им даже предоставлялись значительные льготы и субсидии. В результате, если в 1917г. в пределах Садового кольца проживало около 5% рабочих, то к 1920г. их там было уже около 40-50%. Эта акция была проведена даже вопреки тому, что ездить на заводы, расположенные на окраинах города, особенно когда не ходили трамваи, рабочим было крайне неудобно (Паперный, 1996).

За тиражируемой идеей «теперь всем вместе жить в бывших дворцах и особняках» можно также усмотреть оперирующее на макрогрупповом уровне непереносимое чувство деструктивной зависти (злобного чувства, что другой человек обладает и наслаждается чем-то желанным, сопровождаемого импульсом отобрать или повредить и желаемое, и его обладателя), как и ревности (схожее с завистью чувство, переживаемое, однако, субъектом в ситуации присутствия, по крайней мере, еще двух людей, соединенных отношениями, на которые у него нет монополии, или на которые он не может влиять). Эти чувства ярко описаны представителями школы Мелани Кляйн в их анализе переживаний младенца в диаде с матерью и в семейном треугольнике. Действительно, представители домоуправления на пороге квартиры булгаковского профессора весьма близко напоминают некоторых персонажей кляйнианского психоаналитического театра – например, членов мафиозной группировки внутри нарциссической структуры, описанной Х.Розенфельдом, а также обиженных, озлобленных, возможно, голодных, глубоко травмированных и уязвленных детей, пытающихся вломиться в родительскую спальню,

детей, для которых непереносим сам факт «наличия связи между родителями», а, следовательно, невозможно и обретение третьей позиции в «триангулярном» эдиповом пространстве⁶. Ведь в ситуации патологического раннего детства, если, по тем или иным причинам, для ребенка становится непереносимой сама идея, что объект продолжает свое существование, когда он временно недоступен или отсутствует, то возникает фантазия об уничтожении этого объекта. Оставленное же объектом пространство принимает очертания злокачественного, т.е. деструктивного и подлежащего разрушению (*Britton, 1995*). В клинической ситуации это может находить свое выражение в агорафобическом и клаустрофобическом ужасе перед пространством, в борьбе с ним и попытках разрушить его, в обсессивном манипулировании пространством или его крайнем замусоривании. Эти ментальные операции и физические действия призваны «свести на нет» ужас перед пространством, которое кажется злокачественным. В этой связи можно было бы предположить, что и уродливая архитектура, исказившая облик многих наших городов, и экологическая «запущенность» среды нашего обитания имеют некоторое отношение и к сходным чувствам, проявляемым в более крупном социальном масштабе. Забавно, что проницательный Филипп Филиппович довольно точно связывает разруху в «домах» и «клозетах» с «разрухой в головах».

Герои сатирических рассказов Михаила Зощенко в конце 20-х – первой половине 30-х (до окончательного запрета психоанализа) нередко приходят к врачам, которые применяют аналитические подходы. Однако «пространство», в которое они попадают, настолько нарушено и внешне и внутренне, что его вряд ли можно обозначить как «аналитическое».

В рассказе «Врачевание и психика» (*Зощенко, 1933*) герой приходит в амбулаторию на прием к «нервному врачу», который воздерживается от лечения «пилюлями», а анализирует причины страдания. К этому врачу огромная очередь – человек тридцать. Пациенты переговариваются друг с другом о причинах своих страданий. Но как только разговор приобретает политически подозрительный оттенок, один из присутствующих тут же грозит, что если они не прекратят «распускать свои мысли», то он сообщит куда следует. Сам врач принимает не в отдельном кабинете, а в пространстве, отгороженном ширмой. Так что, все прекрасно слышат, о чем говорит психотерапевт со своим очередным пациентом. Пациент жалуется на бессонницу, а врач предлагает вспомнить причину. Больной с недоверием пытается вспомнить свою историю. Он вспоминает, как, вернувшись с гражданской войны после плена, он застаёт свою жену в объятиях племянника. Врач оживляется, пытается давать интерпретации, но пациент не согласен, что это причина его расстройства. Он жалуется, что перестал спать после того, как вся семья его сестры поселилась в его

⁶ Я благодарен Дэвиду Таккетту за помощь в формулировке подобной интерпретации данного эпизода.

комнате. Комната проходная, дети бегают вокруг и дергают его за нос. Соседка, проходя мимо, просыпает горящий уголь на его одеяло. Одеяло тлеет, ноги горят, а рядом на мандолине играют. Врач в отчаянии прописывает пациенту пилюли. Финальная ироническая ремарка рассказа – таким пациентам такой доктор вряд ли поможет.

В рассказе «Клинический случай» психиатр подробно расспрашивает пациента об условиях его жизни и узнает, что у того неплохая отдельная комната – 17 метров, гораздо лучше, чем у самого врача. Этот врач тоже противник медикаментозного лечения, он просто предлагает пациенту поменяться с ним комнатами.

В своем ироничном приглашении посмеяться над жалкой дефицитарностью мира, в котором очевидная ненормальность жизни кажется повседневной нормальностью, Булгаков и Зощенко обращаются не только к определенным аспектам так называемой внешней советской реальности. Им также удается выразить значительную часть психической реальности, погруженной в демоническую преисподнюю сталинской России. В этом тоталитарном аду происходит демонтаж пространства, в котором могла бы сохраняться «третья позиция». Здесь нет места для свободной мысли. И борьба человека за такое пространство опасна и почти безнадежна.

В булгаковской демонической Москве («*Мастер и Маргарита*», 1928-1939), где почти все, что независимо и оригинально, воспринимается как чужеродное и подлежащее уничтожению, похоже, именно дьявол, Воланд, олицетворяет недостающего «третьего». Когда он впервые появляется в романе, то к неудовольствию и подозрению других персонажей предстает перед ними в обличье «иностранца». Они начинают мучительно гадать: «немец»... «англичанин»... «нет, скорее, француз»... «поляк?»... «нет, он не англичанин», «он никакой не интурист, а шпион», «русский эмигрант, перебравшийся к нам»... «пожалуй, немец» ... «взять бы этого *Канта*, да года на три в Соловки». Эти люди не на шутку встревожены, потому что в мире, где реальный Сатана – Сталин (здесь наблюдается реверсия ролей и перспективы), иностранец всегда подозрителен, и его необходимо сторониться. В тоталитарных социальных и психологических системах «третий объект» неизменно воспринимается как чужой, опасный и подлежащий изгнанию или устранению из иллюзорного и по природе своей злокачественного слияния с тоталитарным объектом⁷. Однако, по иронии сюжета, именно Воланд защищает то лучшее, что он встречает в этом мире. Именно он отстаивает моральные принципы и жизненное пространство. Силою своей власти (ведь это не трудно, зная «пятое» или хотя бы «третье» измерение!) он расширяет

⁷ Кажется, хотя и в ослабленном виде, эти инстинкты унаследованы и современным российским обществом, особенно некоторыми его стратами и, прежде всего, властными структурами. Ведь для некоторых из них присутствие независимых средств массовой информации или международных наблюдателей нередко служит аллергеном и воспринимается как опасное или злонамеренное.

пространство теперь знаменитой московской квартиры. Ведь испорченность москвичей «квартирным вопросом», отягощенная сокращением пространства рефлексивного, – не такой банальный диагноз, каким он кажется на первый взгляд. Наконец, именно Воланд укрепляет надежду, что и в inferнальном сталинском кошмаре настоящее искусство и искренняя любовь неуничтожимы.

На мой взгляд, можно было бы сказать, что в контексте понятия «триангулярного пространства» Воланд представляет собой изобретение на уровне креативного воображения недостающего *другого* (отцовского) объекта из внешнего мира, «третьей» силы, которая способна извлечь субъекта из поглощающего индивидуальную идентичность слияния с архаическим тоталитарным объектом, дабы помочь ему войти и сориентироваться в трехмерном психическом пространстве⁸.

Психотерапевты в поиске аналитического пространства.

Со времени «интересной истории», рассказанной Булгаковым, прошло более половины столетия. Что же касается «аналитического пространства», то, на мой взгляд, для советского и российского психотерапевтического мира большая часть этого периода прошла в *ожидании Годо* (или Воланда, для тех, кто предпочитает Булгакова – Беккету).

Даже в конце 70-х и большей части 80-х годов, несмотря на попытки некоторых коллег вести аналитически ориентированную практику, сама эта практика и учебные семинары подлежали маскировке от официальных инстанций (Аграчев, 1998).

В конце 80-х, когда ослабели идеологические и политические путы, психоанализ стал привлекать повышенное внимание в кругах интеллигенции и, прежде всего, среди врачей и психологов. Однажды заведующая отделением психиатрической больницы, где я тогда работал клиническим психологом, предложила мне нечто совершенно фантастическое. Она сказала, что, с ее точки зрения, было бы очень желательно, если бы в своей работе я уделил особое внимание психоаналитическим консультациям и даже психотерапии с теми пациентами, которые будут в этом заинтересованы. Я был польщен и взволнован. Однако я пошел дальше и отважился обсудить с ней одну из ближайших трудностей, связанных с ее предложением. Я спросил, где я мог бы проводить подобную работу, поскольку делил свой кабинет с тремя коллегами-психиатрами. Заведующая немного подумала и сказала: «Ну что ж, мы попросим их громко не разговаривать во время ваших сеансов с пациентами».

Эта проблема остается актуальной и по сей день, поскольку в большинстве психиатрических больниц возможности врачей и психологов

⁸ Любопытно, что, как предполагает Александр Эткинд, многие черты этого персонажа могут указать на один из возможных прототипов Воланда – Уильяма Буллита, пациента и соавтора З.Фрейда, в то время посла США в СССР и хорошего знакомого Булгакова. Если это действительно так, то в приключениях Воланда можно было бы усмотреть аллюзию на попытку психоаналитического исследования человеческого сознания в условиях страны, заполненной всепроникающими и разрушающими тоталитарными структурами.

проводить сеансы в обстановке приватности крайне лимитированы. Рабочие кабинеты, как правило, делятся между несколькими коллегами. И насколько я могу судить, и по собственным наблюдениям, и, обсуждая с коллегами их психотерапевтические случаи, подавляющее большинство из них вынуждены встречаться со своими пациентами либо после окончания рабочего дня, либо в палате, в коридоре, в холле, даже в столовой (вспомним булгаковского профессора).

К концу 80-х многие из нас оставили работу в психиатрических больницах и занялись так называемой «частной практикой». Мы просто начали принимать пациентов у себя дома. Однако возможности обеспечить аналитическое пространство в тех стесненных условиях, в которых жили и работали большинство из нас, были весьма сомнительными. Думаю, что многим хорошо знакома ситуация, описанная Майклом Ротманном, психоаналитиком с немалым опытом групповых и индивидуальных супервизий коллег из Восточной Европы: «Женщина-терапевт начинает свой доклад с загадочной фразы: "Когда этот пациент вошел в мой кабинет, я почувствовала, что в моей спальне находится мужчина". Поскольку у нее не было другого доступного пространства, она вынуждена была принимать пациентов в своей спальне, которая в этих целях была обставлена офисной мебелью и компьютером. В рабочие часы у нее никогда не появлялись мысли о том, что эта комната была ее спальней» (Rotmann, 1996, p.2).

Действительно, за эти годы немалая часть нашего клинического опыта была приобретена в сеттинге «спален (гостиных, столовых, детских или кухонь), превращенных в консультационные кабинеты». Однако, одним из уроков, которые мы вынесли тогда, стало понимание, что в подобном сеттинге ментальное и эмоциональное пространство, необходимое для аналитической работы, было или обильно засорено, или отсутствовало вовсе. Терапевты часто чувствовали себя незащищенными и легко уязвимыми в своих усилиях *вместать* и *выдерживать* проекции пациентов, которые переживались ими как агрессивные вторжения в личное пространство. В то же время пациенты нередко сталкивались с ощущением, что их подвергают повторной травматизации и чрезмерной стимуляции, и что их собственное пространство захвачено и используется терапевтом, который превратился в основной источник мешающих влияний. Взаимоприемлемым защитным решением такой проблемы нередко становилось ее полное отрицание либо одной, либо обеими сторонами.

Чего в первую очередь не доставало в сеттинге «спальни, превращенной в консультационный кабинет», так это динамической границы между действительным пространством кабинета и тем, что Рональд Бриттон (1995) назвал «другой комнатой» воображения. Подобным образом он обозначает пространство, которое в фантазии субъекта (ребенка) занято первичным объектом (матерью) во время ее отсутствия, т.е. когда,

по представлениям ребенка, она проводит время с другим (третьим) объектом эдиповой ситуации (отцом). *Другая комната* понимается как пространство, в которое могут быть спроецированы фантазии, и в первую очередь – фантазии о первичной сцене. Так или иначе, вторгающееся смешение между *этой комнатой* (или моей комнатой) и *другой комнатой* делали аналитическое пространство (в его функциях как пространства переходного и рефлексивного) опасно неустойчивым.

К счастью, в середине 90-х несколькими московским психотерапевтам, включая меня самого, все же случилось встретиться с Годо, выступившим для нас в виде того, что сегодня называют *шатловым (или челночным) анализом*⁹. В данной статье у меня нет ни времени, ни возможности описать этот опыт во всех деталях. Но применительно к предмету данной статьи я мог бы сказать, что, как мне кажется, этот опыт помог нам обрести то пространство и свободу мыслей и чувств в отношении самих себя, которых мы так искали. Если же принять во внимание, что приезжали мы на Запад главным образом для *прохождения анализа* (а позже – и на супервизии), оставляя на это время свои семьи, работу, повседневные дела и обязанности, то станет ясно, что при таком сеттинге и в таких условиях человек может столкнуться с проблемой определенной *избыточности* доставшегося в его распоряжение пространства. Может даже возникнуть угроза слишком глубокого погружения в собственный анализ. Конечно, даже тот факт, что и мы, и наши аналитики в большинстве своем вынуждены были говорить не на родном языке (*not one's mother-tongue*, т.е. не на языке своей матери), помимо очевидных коммуникативных проблем, имеет весьма значительные последствия для переживания аналитического пространства. Принимая во внимание деформирующий социо-культурный контекст, в котором мы выросли, в большей или меньшей степени впитав его, можно предположить, что для некоторых из нас это был опыт, в чем-то сходный с тем поиском «переходного пространства», который в свое время предпринял и Сэмюэль Беккет – создатель Годо¹⁰. Этот необычный и талантливый писатель, один из изобретателей «театра абсурда», Нобелевский лауреат, в основном писавший по-французски, испытывал в детстве и юности довольно серьезные трудности в отношениях с матерью, называемых многими его биографами «удушающими». Память о них периодически полностью блокировала его способность писать на родном для него английском (*his mother tongue*). Как отмечает Патрик Кейсмент (1982), на

⁹ Шатловый анализ – это формат личного учебного анализа, который некоторые коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга проходят у обучающихся аналитиков (членов Международной Психоаналитической Ассоциации) во время своих регулярных поездок (от 4 до 8 поездок в год длительностью от 1 до 8 недель) за границу, например в Германию, Чехию, Нидерланды, Великобританию, Францию. Этот формат позволяет обучающимся сохранить свою практику в России, однако сопряжен с частыми перерывами, как в личном анализе, так и в работе со своими пациентами. Кроме того, в течение уже ряда лет несколько московских коллег получают свое психоаналитическое образование и в рамках других моделей, более приближенных к традиционным.

¹⁰ В 30-е годы в Лондоне молодой Беккет проходит психоанализ у начинавшего тогда свою психоаналитическую карьеру Уильфреда Биона.

примере биографии и творчества Беккета, эмиграция¹¹ и уход от языка матери в пользу иностранного (в случае Беккета это была эмиграция во Францию и переход в поле французского литературного языка) могут отражать поиск «переходного пространства», в котором становится возможным восстановление способности к творческой игре.

Так или иначе, мне кажется, что среди наиболее ценных вещей, приобретенных и «импортированных» нами, благодаря «челночному» анализу, стало новое чувство пространства. Любопытно, что уже вскоре после того, как мы вошли в пространство собственного личного анализа, кое-что начало происходить и с «физическим» пространством. Так, многие из нас сумели переместить свою практику в отдельные помещения – небольшие студии или квартиры, где мы обустроили свои пока скромные, но весьма удобные кабинеты. Конечно, то аналитическое пространство, которое нам удалось создать, пока не идеально. Оно все еще в процессе перехода от того состояния, которое Майкл Шебек (1999) называет «анальностью подпольной экономики», к более открытому *триангулярному* «миру легальной конкуренции и законного налогообложения». Впереди длинный путь, но это значит, что продолжение следует.

Пациент в поиске пространства. В первой части статьи я пытался привлечь внимание к некоторым аспектам проблемы аналитического пространства в современных российских условиях и попыткам отечественных психотерапевтов обрести это пространство, без которого невозможна никакая аналитическая работа. В завершение я попробую несколько изменить ракурс проблемы и хотя бы бегло обратиться к клиническому материалу, иллюстрирующему попытки одного из моих пациентов расширить столь же необходимое, сколь и ускользающее от него рефлексивное пространство.

Принимая во внимание приведенные выше литературные аллюзии, а также свое видение проблем этого пациента, я решил назвать его Моллой. Таково имя одного из центральных беккетовских героев. Оно воплощает одновременно абсурдный и трогательный образ путешественника с парализованными ногами, замкнутого в тесном пространстве бывшей комнаты своей матери («как бы то ни было, я нахожусь в ее комнате, сплю в ее кровати, хожу в ее горшок») и блуждающего в не менее абсурдном внутреннем пространстве, – «свободных ассоциаций» и мучительных попыток определить, кем же он сам является (*С.Беккет*, «Моллой»).

Учитывая проблемы конфиденциальности, я не могу привести здесь подробности биографии семейной истории своего пациента. Сообщу лишь, что в целом некоторые детали этой истории довольно типичны для многих пациентов, которые приходят к нам на психоанализ или

¹¹ Я полагаю, что в некоторых случаях шатловый анализ может также иметь значение символической игры, в которой обыгрываются эмиграционные сюжеты.

психотерапию. В старшем поколении его семьи были как жертвы советской репрессивной системы, так и ее «винтики». С самого рождения он воспитывался без отца, а отношения с матерью, хотя и заботливые с обеих сторон, но слишком тесные (на эмоциональном и телесном уровнях), смущающие его, он переживал как постоянные вторжения, нарушающие границы его персонального пространства и периодически – как слишком удушливые¹². Можно было бы сказать, что, как и у многих наших пациентов, его психическое пространство так и не приобрело устойчивых черт «триангулярного» пространства и, в основном, оставалось пространством диадическим.

Я хочу отметить, что этот пациент проходил у меня психоанализ (четыре раза в неделю и на кушетке) в течение нескольких лет. Наша работа началась, когда я сам еще не закончил свой шатловый анализ, обучаясь в Германии. И это обстоятельство также является типичным для тех пациентов, терапевты которых ездят на свой анализ за границу. Это касается, например, любого члена Московского Психоаналитического Общества. Согласившись работать с таким психотерапевтом, из-за частых перерывов в работе пациент с неизбежностью и сам оказывается в «шатловом» анализе (или терапии).

Моллой. Затруднения, с которыми Моллой (довольно симпатичный, одаренный и весьма успешный в своей области человек) пришел на анализ – агорафобия и клаустрофобия, имели очевидное отношение к особенностям переживания им себя в пространстве и пространства внутри себя. Его пространственные фобии касались как страха вхождения в замкнутое, «захлопывающееся» пространство (и ужаса, что внутри такого пространства ему что-то угрожает), так и панических приступов при столкновении с «открытым пространством» (на высоте или необходимости покинуть пространство, которое он считал безопасным). Его панические приступы (сопровождаясь головокружением и ощущением сильного удушья) чаще всего наступали в ситуациях, где он мог остаться без помощи. Он избегал общественного транспорта, особенно метро, и опасался, что у него может возникнуть приступ в автомобильных пробках или в дальних поездках в одиночку. Он часто не мог избавиться от навязчивых мыслей, каким же маршрутом ему следует ехать, чтобы избежать «пробок» или ситуаций, «чреватых возможными приступами».

Описание хода анализа. В начале анализа Моллой много говорил о своих симптомах и о своей «истории болезни». Он жаловался, что, на-

¹² Нивелирование отцовской роли в современной российской семье, ее существенное изъятие (или «самоизъятие») из диады ребенок-мать, достаточно очевидно. «Отсутствующий отец» – не исключительно российская черта. Она присуща и современному западному обществу (см., напр., Brickman, 1993). Однако, для нас – это еще более серьезная социальная проблема. Особенно, если принять во внимание крайне низкую среднюю продолжительность жизни мужского населения России. Не в последнюю очередь это происходит за счет гибели и потери здоровья молодыми мужчинами в различных «горячих точках». Кроме того, по данным Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия, организатора выставки «Человек и тюрьма», каждый четвертый взрослый мужчина в нишей стране сидел или сидит в тюрьме.

ходясь на кушетке, не может думать ни о чем, кроме дорожных пробок, которые он встретил на пути ко мне или в которых он может застрять на обратном пути. Он был озабочен мыслями о выборе наиболее безопасного маршрута при возвращении домой. Время от времени он сообщал кое-что о своей жизни, которая за рамками его страдания казалась ему вполне удовлетворительной. В другие моменты он скрывался в мире абстрактных обобщений, обнаруживая, насколько отгорожен он был от своей эмоциональной жизни.

Долгое время, находясь в анализе, Моллой не проявлял никаких мыслей или чувств в мой адрес. Хотя с самого начала анализа я задолго предупреждал его обо всех запланированных на текущий год перерывах (довольно частых, а иногда и относительно продолжительных), он не выражал прямо своей озабоченности или интереса, почему я должен был прерывать нашу работу столь часто. Он также избегал каких-либо персональных замечаний по моему поводу. У меня складывалось впечатление, что он пытался защитить себя от наличия любых личных моментов в наших отношениях.

Я чувствовал, что он пытался исключить меня как человека из своего анализа, укрепляя формальную связь со мной как безличным экспертом. Казалось, что он чувствовал себя в большей безопасности, воспроизводя хорошо предсказуемую модель отношений «врач-пациент», с детальным описанием жалоб с одной стороны и назначением медицинских процедур – с другой.

В начале анализа сеансы были наполнены повторяющимися историями. Многократные повторы делали эти истории скучными и безжизненными. Нередко я ничего не мог поделать со своей невнимательностью и одолевающей меня сонливостью. Возникало ощущение, как будто между нами пролегла толстая стена, изолирующая нас друг от друга. В такие моменты я был склонен обвинять себя за то, что согласился взять на анализ человека, к анализу непригодного.

Неудивительно, что Моллой и сам отмечал неудовлетворенность собою, а также такими утомительными и пустыми сеансами, которые, как он думал, были продуктом его «судорожного» контроля над «скрытой эмоциональной жизнью».

К счастью, с течением времени такие часы стали перемежаться с более оживленными сеансами, когда он говорил о себе и о других людях в более эмоциональном и личном ключе или приносил свои сновидения. Как правило, встречи, на которых нам удавалось установить лучший контакт, сменялись усилением его тревоги (преимущественно клаустрофобии и агорафобии), и затем он снова скрывался за стеной молчания или монотонной мысленной жвачки.

Тем не менее, благодаря этим моментам самораскрытия мы смогли установить более глубокий контакт друг с другом и увидеть кое-что из того, что скрывалось за его отгороженностью и контролем. Например, его

жажду и стремление к близкому (интимному) контакту с объектом, а также мощный ужас потери самого себя в слиянии с объектом всепроникающим и всепоглощающим.

Моллой испытывал серьезные затруднения в близких эмоциональных отношениях с другими людьми. Однажды он даже пошутил, что всегда есть что-то инцестуозное в сексуальных отношениях с женщиной, которая становится эмоционально близкой ему, как бы «его родной». У него было ощущение, что чем меньше дистанция между ними, тем больше она напоминала ему мать. Он признал, что на самом деле боялся встретить открытое проявление сексуальных желаний со стороны женщины, которые вызывали у него смятение, испуг, чувство несвободы, спутанности и связанности по рукам и ногам. В своих фантазиях он отдавал предпочтение «безымянной незнакомке», всякий раз новой, с которой у него не было бы ничего личного, только «чистая физиология».

Понадобилось немало времени, прежде чем мы постепенно приблизились к пониманию, что в своих отношениях с женщиной, которая могла бы по-человечески стать слишком близкой, он переживал острую нехватку безопасного пространства и безопасной дистанции. Я также понимал трудности пациента в близких личных отношениях и его фантазии о безличных, механических, «чисто физиологических» контактах с взаимозаменяемыми «незнакомками» как его непереносимую тревогу «быть вдвоем», его отчаянный поиск отсутствующей третьей (отцовской) фигуры.

В психоанализе и в культуре в целом (например, если обратиться к мифам, сказкам или даже анекдотам) третий элемент воспринимается как нечто, обладающее стабилизирующей функцией, а триада (в отличие от диады) понимается как более устойчивая конфигурация (*Brickman, 1993*). В психоанализе триангуляция рассматривается, прежде всего, в контексте появления отца на психической сцене ребенка. Это происходит гораздо раньше вхождения последнего в классический треугольник эдиповых семейных отношений. С точки зрения Д.Винникотта, отец имеет огромное значение для младенца, потому что отличается от матери, порождением которой является младенец. Мать сохраняется для ребенка как фигура, к которой он может возвращаться, воссоединяясь с ней, в то время как отец «открывает для него новый мир».

Как отмечает Абелин, один из исследователей детского развития в центре Маргарет Малер, в ходе процесса сепарации-индивидуации отец как бы «встраивается в реальность и приравнивается к ней не только как источник ограничения и фрустрации, но и как опора творческого и адаптивного овладения ею» (*Abelin, 1971*; цит. по *Brickman, 1993*). Д.Шасге-Смиржель (1986) также описывает отца в структуре архаической матрицы эдипова комплекса как представителя мира дифференциации, то есть границ, различий, открытого пространства, предохраняющих ребенка от падения в симбиотическое слияние с матерью и психологической

смерти.

Брикман (1993) полагает, что отец как «другой», отличный от матери объект, является представителем *внешней реальности* в пространстве *внутренней реальности* ребенка. Он становится главным каналом интернализации мира различий. И в этом смысле противостоит неразделенному «внутренне-внешнему» миру симбиоза, в котором психическая и внешняя реальности зачастую сливаются. Благодаря этой отцовской функции происходит структурализация психической реальности, внутри которой рождается чувство присутствующего внешнего мира. В данном контексте отец представляет собой «другой» объект, пришедший извне. Игра с отцом, обычно менее нежная, более интенсивная и, может быть, более агрессивная, стимулирует столь необходимые для индивидуации способности ребенка в освоении внешнего и внутреннего пространства. В идеале отец выступает как третья сила или третий элемент, представляющий внешний трехмерный мир и ориентирующий ребенка в новом сложном мире.

Как будет видно и из приведенного ниже аналитического сеанса, Моллой в течение всей своей жизни открыто выражал потребность найти отцовскую фигуру. Но здесь я имею в виду, прежде всего, не просто физическое присутствие или отсутствие «исторического отца», но более ранний и незаметный феномен, а именно – «структурную» репрезентацию отца в диаде «мать-ребенок». Отца, который может быть представлен в диаде или входить в диадду непрямо. Например, через внутренний опыт матери, ее переживания собственных внутренних объектов (прежде всего, через ее психическую репрезентацию собственного отца), даже если отец ребенка физически отсутствовал.

Некоторый полученный в анализе материал давал возможность предположить, что мать Моллоя сама могла находиться под влиянием мощных симбиотических стремлений, желания слияния с объектом, которые препятствовали сепарации ее сына.

Моллой также рассказал об эпизоде своей до-подростковой влюбленности, о взаимных ласках и чувстве глубокой эмоциональной близости с предметом своей влюбленности. Однажды за таким опытом последовало загадочное и быстротечное заболевание. Поднялась температура с лихорадкой, которая сопровождалась смутным, но ужасающим ощущением, как будто бы он оказался вдавнен в огромное, рыхлое человеческое тело без лица и пола. И эта телесная масса начинала заполнять его, проникая в него через рот и ноздри, забивая его легкие и живот.

В соответствии с формулировками Ф.Тастин, я предположил, что в ранних отношениях между пациентом и его матерью последняя, в силу собственной депрессии, чувства неадекватности и одиночества, могла невольно реагировать на сына, как если бы он был частью ее самой, частью ее собственного тела, идентифицируя ребенка со своим собственным инфантильным «Я» и бессознательно пытаясь объединиться с ним во

внутри- и единоутробном счастье.

Стоит заметить, что Моллой связывал свою агорафобию с его детским страхом потеряться, с тем чувством одиночества, которое всегда испытывал, когда оказывался вне дома. При этом он чувствовал свою мать и как слишком близкую, и как слишком отдаленную фигуру.

Постепенно мы немного продвинулись в понимании его постоянных колебаний между клаустрофобическими и агорафобическими приступами паники. Это была непереносимая дилемма Моллоя. На бессознательном уровне он разрывался между, с одной стороны, отчаянным стремлением к объекту, который потенциально был бы способен прояснить и помочь переработать его потребности и тревоги (материнский объект, обладающий надежными отношениями с репрезентацией отца, – третьим), но который в реальности нес в себе ужас телесного и психического слияния с ним (клаустрофобия); а с другой – ужасом сепарации и полной утраты, как объекта, так и самого себя (агорафобия).

Мы также получили некоторое представление о защитных техниках, применяемых Моллом против своей тревоги, – о его судорожном контроле и о склонности устанавливать по сути безличные отношения с другими. Он мог легко инструментализировать отношения и редуцировать людей до выполняемых ими функций (этот человек – мои ноги, глаза и т.д.). В результате другие люди становились неразличимыми и взаимозаменяемыми, а самому ему, таким образом, удавалось избегать тоски по объекту, чувства зависимости и боли потерь.

Конечно, дилемма Моллоя отыгрывалась также в переносе и контрпереносе. Она звучала в его отношениях с анализом в целом и со мной как его аналитиком. Как уже отмечалось, сеансы, когда он отваживался устанавливать со мной более доверительный контакт, периодически перемежались со скучными, пустыми сеансами, когда я чувствовал себя обездвиженным и безжизненным. По мере того как анализ понемногу продвигался, Моллой стал сообщать мне о своем беспокойстве, основу которого составляло убеждение, что с глубиной анализа ему придется переносить все большую боль. Он признался, что за годы до анализа ему удалось нарастить вокруг себя «толстую кожу», которая была мало-чувствительна к боли. И теперь он опасался, что анализ может содрать эту кожу и обнажить его плоть. Он сравнил такую кожу с тефлоновым покрытием на сковороде. Если тефлоновая пленка обдирается или царапается, то пища начинает прилипать и пригорать к сковородке.

Действительно, в отношениях со мной Моллой постоянно колебался между двумя своими уже знакомыми читателю страхами: прилипнуть (клаустрофобия) и полной утраты связи со мной (агорафобия). Он нуждался в «тефлоновом покрытии», чтобы установить более безопасную дистанцию, подобным образом регулируя тревогу изоляции и аннигилирующей (поглощающей) близости.

Безусловно, самый формат нашей работы (по причине моего личного

анализа в Германии и частых отъездов) не только высвечивал его дилемму, но и усиливал ее. Повторяющиеся расставания и встречи, приезды и отъезды с неизбежностью приходили в резонанс с его проблемами приближения и отдаления (ухода), его тяги к объекту и страха слияния с ним. Однако, он не высказывал никаких идей или фантазий о причинах моего отсутствия. Два раза он и сам брал недельные отпуска (помимо запланированного летнего) – один незадолго до моего отъезда, второй – вскоре после моего возвращения. По-видимому, в эти периоды укреплялись нарциссические защиты Моллоя, с помощью которых он отрицал, что нуждается в объекте и зависит от него. Он как бы уговаривал себя: «Если мой аналитик покидает меня, я справлюсь и без него. Он мне не нужен. Я и сам могу бросить его». Однако на бессознательном уровне Моллой боялся навсегда потерять аналитика. Иногда перед моими отъездами его агорафобия усиливалась.

Вместе с тем, после нескольких лет нашей работы у меня сложилось впечатление, что анализ являлся для Моллоя не только местом, где воспроизводилась и разыгрывалась его неразрешенная дилемма. К третьему году появились определенные признаки (весьма скромные, но все же) того, что ему стали удаваться попытки расширить пространство саморефлексии. К этому времени несколько выросла его способность к осмыслению «себя в отношениях с другими». Можно было бы сказать, что в его внутреннем пространстве стала появляться доселе не знакомая «третья позиция». Моллой также стал более открыт чувству боли и скорби. Кажется, что анализ впервые в жизни обеспечил его таким «пространством», где бы он мог начать диалог с самим собой и своими объектами, обсуждать свои нужды, тревоги и конфликты, и где мог бы говорить и договариваться.

Ниже я приведу описание одного из сеансов на третьем году анализа Моллоя. Он состоялся в пятницу. Однако, нам предстоял более длительный, чем обычные выходные, перерыв. На следующий за сеансом день Моллой собирался на неделю уехать, о чем задолго уведомил меня.

Надеюсь, что этот типичный для того периода анализа сеанс достаточно иллюстративен и в отношении внутренней дилеммы Моллоя, и в отношении нашей аналитической работы.

Пятница. Моллой начал нашу встречу с сообщения о том, что, приехав на сеанс, обнаружил, что не может открыть электронный кодовый замок на двери дома, где я занимал небольшую студию под свой кабинет. Дверь оказалась заперта, а замок и домофон сломаны. Потом он заметил объявление, где сообщалось, что в здание можно попасть через технический вход, открытый в связи с поломкой. Для этого нужно было обойти весь дом и войти в дверь с противоположной стороны здания.

Далее он сказал, что в тот день испытывал столь сильную тревогу, что у него возникло желание добраться до входа на машине. Но эта идея ему не понравилась. Машина была удачно припаркована, и, кроме того, он

стал бы обвинять себя в слабости, если бы пошел на поводу у собственного страха. Он собрался с силами и прошел весь путь пешком. Но после того как он вошел в кабинет и лег на кушетку, его стали одолевать мысли о том, как же он будет возвращаться к своей машине после сеанса.

В этом момент я сделал свой первый комментарий: «Похоже, Вы чувствуете, что позволили себе зайти слишком далеко».

Перебирая в руках четки (что он, впрочем, обычно делал и на других сеансах), Моллой отозвался: «Это правда. Даже сейчас я чувствую страх и желание срочно занять чем-нибудь и руки и голову, чтобы отвлечься от нежелательных мыслей...»

После непродолжительной паузы я просто повторил его последние слова: «Чтобы отвлечься от нежелательных мыслей...» На что Моллой ответил: «Да, да, у меня впечатление, что я загнал себя в ловушку»... Пауза.

Рефлексия. *Я задумался над этой метафорой Моллоя. Слушая его, я вспомнил, что когда, несколькими часами раньше, во время перерыва в своей работе, я хотел выйти из здания, то из-за сломанного замка сам столкнулся с небольшими сложностями. Несколько человек столпилось внутри подъезда, пытаясь выйти наружу. Все нервничали. Одна женщина, которая спешила на какую-то очень важную встречу, особенно сердилась. Она громко жаловалась и, казалось, была готова обрушиться с кулаками на глухую железную дверь, испытывая бессильную ярость. Впрочем, кажется, на какое-то мгновение все мы, сгрудившись у двери, почувствовали себя в захлопнувшейся ловушке, душной и темной. Несколько невероятно долгих минут ушло, прежде чем мы сообразили, что, поднявшись на верхний этаж, можно выйти и через другие подъезды или открыть технический вход.*

Возвращаясь мысленно к Моллою и его словам о «ловушке», я подумал: возможно, он пытался передать через эту метафору (которая в сочетании с моим воспоминанием приобрела для меня вполне конкретное и осязаемое качество) свое чувство сжатости, запертости, страх оказаться в ловушке тесных, удушающих отношений с поглощающим симбиотическим объектом. Вероятно, и внутри самой текущей аналитической ситуации Моллой ощутил себя в сердцевине собственной дилеммы. С одной стороны – ужас оказаться замкнутым внутри моего кабинета (и в отношениях со мной), связанным, прикованным, навсегда потерявшим автономность и свободу передвижения, полным беспомощной ярости и готовности атаковать связывающий его объект; с другой – страх разрушить эти сковывающие узы и, вырвавшись наружу, навсегда потерять свой объект.

Основываясь на этих размышлениях, я сказал: «Возможно, Вы пытаетесь отвлечься от нежелательных мыслей, что можете оказаться в ловушке или в заключении, если позволите кому-нибудь, а в данный

момент мне, слишком сильно приблизиться к Вам. Кажется, Вы позволили себе зайти слишком далеко в Вашем анализе. Так, что теперь Вам, может быть, довольно трудно уйти от меня после сеанса. И теперь встает вопрос, можете ли Вы оставить меня или будете вынуждены остаться здесь – как в тюрьме».

Моллой шутливо парировал: «О, я не собираюсь оставаться здесь после сеанса. А если, уходя, почувствую, что мне трудно добраться до машины, то осмелюсь попросить Вас составить мне компанию и проводить меня...» Пауза.

Я сказал: «Кажется, Вы также нуждаетесь во мне как в компаньоне, который поддержал бы Вас в Вашей борьбе за свободу приходить и уходить».

После нескольких минут молчания, в течение которых Моллой выглядел задумчивым, он сообщил, что именно этого он всегда искал, а теперь хотел приобрести при помощи анализа. Он также добавил, что надеется, я не принял буквально его слова, что должен проводить его до машины. С этим он управится и сам. Но, что было гораздо более важным, это найти внутреннюю свободу. Затем он сообщил, что навязчивая тревога отпустила его, и он больше не беспокоился о том, как добраться до машины.

Немного помолчав, он сказал, что обычно у него появляется чувство дискомфорта, когда он должен выйти из своей машины и добираться до какого-то места пешком. Любопытно, что само по себе расстояние не имело большого значения. Однако самый факт, что он может потерять из виду свою машину, был очень существенным. Именно это обычно вызывало его тревогу. Затем он добавил, что обычно его тревога достигала пика, когда он оказывался на середине расстояния между «пунктом назначения» и тем, что он называл своим «родным местом», например, домом или машиной.

Затем Моллой припомнил эпизод, когда предыдущим летом во время 5-недельного перерыва в нашей работе он перенес сильный приступ агорафобии: он был «в середине пути» и полностью потерял из виду свою машину. Он сказал, что тем летом чувствовал себя особенно уязвимым, поскольку анализ сделал его гораздо более эмоциональным, чем он когда-либо до этого был.

Я сказал: «Такое впечатление, что на какое-то время Вы потеряли из виду не только Вашу машину, но и меня. И сегодня та же тема возникает снова: Вы, кажется, опять теряете меня из виду. Ведь сегодня последний сеанс на неделе, а на следующей – Вы будете в отъезде ...»

С некоторым удивлением Моллой заметил, что прежде старался не задумываться над тем, что часто терял меня из виду, и что это снова может произойти и на следующей неделе. Он продолжил, что сейчас лучше понимает причину усиления своей тревоги в этот день и тогда, летом. Потом Моллой сказал, что вопрос доступности для него тех людей,

с которыми ему хотелось бы поддерживать контакт, кажется ему ключевым. Он хотел бы иметь право обращаться или приходить к ним, когда у него есть такое желание.

Я добавил: «Так же, как и право уходить от них».

Для того, чтобы чувствовать свободу уходить и приходить, ответил Моллой, ему необходимо присутствие кого-то, кто мог бы ему сказать: «Не беспокойся, продолжай идти вперед. Если ты упадешь, я подставлю свои руки и поддержу тебя». Он завершил сеанс словами, что он – взрослый человек, добившийся немалого успеха в своей области, – все еще ищет той помощи, какую ему мог бы дать отец. И мало кто знает, как он в этом нуждается.

Обсуждение. Этот пятничный сеанс не стал поворотным пунктом в анализе Моллоя: работа продолжается, пока еще не достигнув завершающей фазы. Тем не менее, я думаю, что его переживания на этом сеансе и обретение некоторого понимания того, что с ним происходит, важно. Излишне подчеркивать, что происходящее на сеансе довольно четко высвечивает дилемму пациента. Моллой отчаянно пытается найти выход из своего неразрешенного «дивергентного конфликта». В своем стремлении к объекту он оказывается зажат между жерновами двух состояний, одинаково ужасающих его, – страхом полного слияния с архаичным, поглощающим симбиотическим объектом и паническим страхом потерять его навсегда. Его дилемма еще больше заостряется самим форматом нашей работы. Перерывы усиливают, укрепляют его нарциссические защиты, при помощи которых он отвергает свою зависимость от объекта. В переносе я выступаю одновременно и как симбиотический, поглощающий объект (архаическая мать первичного слияния) и как дистантная, недоступная и поэтому потерянная родительская фигура.

Однако, кроме этого, я еще и «третий элемент» (зачаток отцовского объекта), чье присутствие пока еще неустойчиво и мимолетно. Но все же я начинаю представлять в его переносе и того, кто постепенно входит в орбиту диады «мать-дитя», и своим присутствием начинает изменять старые, весьма турбулентные диадические отношения, придавая как пациенту, так и самой диаде большую устойчивость, необходимую для дальнейшего внутреннего развития.

На этом сеансе Моллою удастся немного расширить доступное рефлексивное пространство, то есть повысить свою способность к осмыслению и себя самого и «себя в отношениях с другим». Он начинает лучше видеть, что скрывается за фасадом его привычных защит (в результате их ограничивающего действия он ничего не приобретал, хотя при этом ничего и не терял) и ближе подходит к принятию своей нужды в *другом* и зависимости от него. У Моллоя открывается большая способность переживать печаль в ситуации расставания, и благодаря этому он нащупывает путь, ведущий за пределы всеохватывающего, беспредмет-

ного и безымянного ужаса слияния-аннигиляции. Одновременно он начинает открывать и реальность *другого* (своего аналитика). Он не только лучше слышит меня, но и робко приближается к осмыслению меня как объекта, у которого есть не зависящая от него жизнь, за пределами его анализа, и которая, возможно, как-то связана с моими отъездами и перерывами. Если раньше он избегал этой темы, то теперь сам устанавливает связь между своим состоянием и переживанием расставания со мной.

Пока эти переживания Моллоя представляют собой лишь переходный этап к переживаниям в «трехмерном рефлексивном пространстве». Как отмечает Рональд Бриттон, в условиях коллапса триангулярного пространства не остается места для рефлексивной мысли и нетривиальной (т.е. не закольцованной на самом пациенте) фантазии о событиях в ситуации отсутствия объекта. Он дает следующее описание такого пространственного коллапса: «В этих условиях *здесь и там*, как и *сейчас и тогда*, сжимаются в одно *время-пространство*. Все, что ни делает первичный объект, оказывается тем, что делается в диадической сфере, независимо от того, делается ли это в отсутствие или в присутствии "я"; здесь нет самой идеи независимых отношений с третьим объектом, и поэтому все, что делает объект, оказывается действием либо *за*, либо *против* "я". В эти моменты отсутствие аналитика воспринимается как нападение на пациента, а не как событие в жизни аналитика» (Britton, 1995, p.126).

«Игнорирование» Моллоем периодического *отсутствия аналитика* в первой фазе его анализа могло использоваться им в качестве защиты (ведь *нападению* должна противостоять защита) от признания этого отсутствия в качестве события в моей собственной жизни¹³.

Сегодня, когда со времени того пятничного сеанса прошел не один месяц, и агорафобия и клаустрофобия Моллоя заметно ослабили свою тиранию над ним, я мог бы сказать, что именно тогда (имеется в виду не только упомянутый, но и другие сеансы того периода) мы стали нащупывать выход из этой «пожирающей» пространство дилеммы.

Заключение. В своей статье я хотел привлечь внимание к проблеме аналитического пространства и описать некоторые факторы, вызывающие его сокращение. В качестве центрального фактора рассматривается «дефицитарность» или «изъятие» третьего объекта. Предпринимается попытка описать, какие формы такого рода «изъятие» может приобретать на индивидуальном и социальном уровнях. Проводятся определенные параллели между попытками пациентов расширить свое психическое пространство с помощью анализа и поиском аналитического пространства, предпринятым некоторыми из моих московских коллег.

¹³ Событие для меня немаловажное, так как я уезжал на сеансы личного анализа.

ЛИТЕРАТУРА

- Аграчев С.Г.* Перенос, контрперенос и тревога отечественных психотерапевтов. Московский психотерапевтический журнал, 1998. № 2, с.9-18.
- Булгаков М.* Дьяволиада: Повести и рассказы. – 2-е изд. М.: ДЭМ. 1991.
- Зоценко М.* Собрание сочинений: в 3-х томах. Л., 1986.
- Паперный В.* Культура Два. Новое литературное обозрение. М., 1986.
- Томэ Х., Кэхеле Х.* Современный психоанализ: в 2-х томах. «Прогресс» – «Литера», 1996.
- Эткинд А.* Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: «Медуза». 1993.
- Aguayo J. (1997).* Historicizing the origins of Kleinian psychoanalysis. Klein's analytic and paternal relationships with Ferenczi, Abraham and Jones, 1914-1927. *Int. J. Psychoanal.*, 78: 1565-1182.
- Bion W. (1959).* Attacks on linking. *Int. J. Psychoanal.*, 40: 308-315.
- Brickman H. (1993).* «Between the devil and the deep blue sea»: The dyad and the triad in psychoanalytic thought. *Int. J. Psychoanal.*, 74: 905-915.
- Britton R. (1989).* The missing link: Parental sexuality in the Oedipus complex. In *The Oedipus Complex Today*, ed. J.Steiner, 83-101. London: Karnak.
- Britton R. (1995).* Reality and unreality in phantasy and fiction. In *On Freud's «Creative Writers and Day-dreaming»*, ed. E.S.Person et al. 82-106. New Haven and London: Yale Univ. Press.
- Casement P. (1980).* The therapeutic environment. *Int. R. Psychoanal.*, 7: 525.
- Casement P. (1982).* Samuel Beckett's relationship to his mother-tongue. *Int. R. Psychoanal.*, 9: 35.
- Casement P. (1990).* Further Learning from the Patient. *The Analytic Space and Process*. Tavistock: Routledge.
- Chasseguet-Smirgel J. (1990).* Reflections of a psychoanalyse upon the nazi biocracy and genocide. *Int. R Psychoanal.*, 17: 167.
- Grotstein J. (1978).* Inner space: its dimensions and its coordinates. *Int. J. Psychoanal.*, 59: 55-61.
- Hinshelwood R. (1994).* Attacks on reflective space: containing primitive emotional states. In *Ring of Fire. Primitive Affects and Object Relations in Group Psychotherapy*, ed. V.Schemer & M.Pines. Routledge.
- Klein M. (1958).* On the development of mental functioning. In *Envy and Gratitude and Other Works, 1946-63*. New York: Delacorte Press / Seymour Laurence, 1975, p.236-246.
- Ogden T. (1994).* The analytic third: working with intersubjective clinical facts. *Int. J. Psychoanal.* 75: 3-20.
- Rosenfeld H. (1971).* A clinical approach to the psychoanalytic theory of the life and death instincts: an investigation into the aggressive aspects of narcissism. *Int. J. Psychoanal.*, 52: 169-78.
- Rosenfeld H. (1987).* Impasse and Interpretation. London: Tavistock.

- Rotmann J.M. (1996).* The setting and its significance. Paper read at the East European Psychoanalytic Summer School, 4-10.08.1996. Preddvor/Slowenia.
- Sebek M. (1998).* Searching for identity and authority: how to become a psychoanalyst in the post-totalitarian reality. *Psychoanalysis in Europe. EPF Bulletin.* 51: 66-73.
- Sebek M. (1999).* The «invention» of psychoanalytic training in Eastern Europe. Paper read at the East-European Pre-Congress «Psychoanalysis and Metropolis: Vienna 1900 – Berlin 1920 – Budapest 1930 – Eastern and Central Europe 2000». Berlin, 25.03.1999.
- Tustin F. (1981).* *Autistic States in Children.* London: Tavistock.
- Winnicott D. (1971).* *Playing and Reality.* London: Tavistock.